
2036:
REBOOT
КНИГА ВТОРАЯ
КОНЦЕРТ Марши
2036
GAME OVER
Ищю атца...
адет в чорную
парку...
Памагите!
ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ
ЧИСТАЯ ПЛАНЕТА СЧАСТЛИВЫЕ ДЕТИ
ПУНКТ ОБОГРЕВА
800 метров
СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ
18+
ДЕНИС СЕДОВ

Денис Седов

2036: REBOOT

Серия «2036», книга 2

https://litres.ru/74706217
SelfPub; 2026

Аннотация

Система не убивает. Она просто перестаёт отвечать.

2036 год. Небо закрыто серой пеленой, солнца нет, лето обернулось зимой. Ресурсы достаются только центрам, где живут избранные. Остальные девяносто пять процентов человечества остались одни: без подсказок, без навигации, без браслетов и чипов, которые знали за них всё.

Когда в тайге пропадает автобус с тридцатью двумя детьми, искать его некому. Кроме стариков, которые ещё помнят, как жить руками. И егеря-москвича, которому кто-то подсказал дорогу.

Игра окончена. Пора перезагружаться.

Содержание

Глава 1. Серые зайцы 4
Глава 2. Фольга 14
Глава 3. Сборы 21
Глава 4. Талый ключ 29
Конец ознакомительного фрагмента. 36

Денис Седов
2036: REBOOT

Глава 1. Серые зайцы

Термометр за окном показывал минус двадцать один.

Десятый день. Иша называл эту отметку, когда раскладывал мне конец света по дням: минус двадцать, города начинают остывать, вода в трубах замерзает. Про заимки он ничего не сказал. Заимки в его расчёты не входили.

Рассвета не было. Небо по утрам выцветало до того серого света, какой бывает зимой часа в четыре, когда вечер только собирается. И на этом останавливалось. Так теперь выглядел день: длинный, летний, с семи утра до девяти вечера — и света в нём ровно столько, чтобы различить забор и кромку леса. На тени его уже не хватало. Ночь приходила тогда, когда в июне положено начинаться вечеру, и приходила сразу, без сумерек. Свет не гас. Его выключали.

В сарае гудел генератор. Панели на крыше третьи сутки стояли под снегом, и чистить их я не стал: солнцу нечем было их кормить. Дизель я считал каждый вечер карандашом в старой тетради. Из пятисот сорока литров, что я налил в первый день, уже ушла пара канистр, и никакая арифметика не превращала остаток в годы.

Гарнитура лежала на полке у двери. На пятый день я перестал её надевать, на шестой снова сунул в ухо на ночь и проснулся с ней — пустой, без единого щелчка. Иша молчал с того самого утра, когда ушёл в систему. Мы договорились ждать до утра. Утро вышло длиною в девять дней.

За десять лет я привык к его голосу сильнее, чем думал. Теперь ловил себя на том, что задаю вопрос вслух — сколько на улице, что с дорогой, — и жду ответа в пустом доме.

Рон лежал у печи, вытянув лапы. Услышал, как я ставлю кружку, поднял голову, но вставать не стал. В последнее время он вообще поднимался тяжелее — сначала передние лапы, потом, с вздохом, всё остальное.

Я присел рядом и запустил руку ему в загривок. Шерсть оказалась летняя: короткая, жёсткая, без подпушка. Хаски в такой шубе в июне в самый раз. При минус двадцати — нет.

Я провёл ладонью против шерсти и остановился. У самой кожи, под остью, пальцы нашли мягкое — тонкий, едва наметившийся пух. Линька началась. Не по календарю, а по свету: света не стало, и собачье тело решило, что пришла осень. Тело не ошиблось. Оно даже опоздало.

— Вот так, братишка. И тебя мы, люди, в тупик загнали. Жил себе, никого не трогал, а теперь ломай привычки посреди лета.

Рон вздохнул и положил морду мне на колено.

— Сегодня дома посидишь. Я сам поохочусь. Тебе сначала шкуру сменить надо, а то околеешь.

Слов он не понял. Зато понял, что я снимаю с гвоздя «Бекас» и не беру поводок. Провожал меня глазами от печи до самой двери и отвернулся к стене, демонстративно. Старый уже, а обижаться так и не разучился.

Снег лёг на третий день — сразу, без положенного перехода, как и обещал Ефим Петрович у магазина. Теперь его насыпало по колено, сухого и скрипучего, январского.

Лес стоял в ледяных оковах. Берёзы не успели сбросить листву: мороз прихватил её живой, и она висела тёмными сморщенными тряпками, гремела на ветру, как жесть. Хвоя держалась лучше, но и у сосен иглы потускнели. Из-под снега торчали стебли иван-чая, ещё зелёные, с нераскрывшимися бутонами.

Лето никуда не ушло. Его заморозили на ходу.

Я шёл вдоль ручья по памяти, держась старой тропы к вырубке. Ручей ещё бормотал подо льдом, с каждым днём глуше. Дыхание оседало инеем на воротнике, ресницы слипались. В таком свете глаз терял рельеф: сугроб и яма выглядели одинаково, и дважды я проваливался там, где ждал твёрдого.

Первого зайца я заметил метров за сорок. Беляк сидел у края вырубки, на открытом, и даже не прятался. Серо-бурый, летний, на белом он смотрелся кляксой. Зимой я бы прошёл мимо в десяти шагах: беляк в январе — это ком снега с двумя чёрными кончиками ушей и глазами-бусинками. Этого было видно через всю поляну.

Я поднял ружьё. Выстрел ушёл в лес и вернулся эхом от склона.

Второго я взял у осинника. Третий выскочил почти из-под ног и сделал ошибку — замер, надеясь на свою шубу. Шуба его предала. Четвёртого и пятого я нашёл на покосе: они вдвоём грызли кору с поваленной осины и подпустили меня так близко, как зайцы не подпускают никогда. Голод оказался сильнее страха.

Пять зайцев за неполный час. Раньше я считал удачей одного за день.

Я связал их за задние лапы и закинул через плечо. На обратном пути тянула не ноша — тянуло другое, чему я не сразу нашёл имя. А когда нашёл, радость от добычи уже не вернулась.

Это была не охота. Лес выставил своих зверей на белое, как на прилавок, и ничего не мог с этим поделать. Зайцам менять шубу ещё месяц. У них не было этого месяца. И если это понял я, то волки и лисы поняли раньше меня.

Мороз брал своё. Пальцы в перчатках деревенели, и я перевесил ружьё на ремень, а руки сунул в карманы. Зайцы на плече костенели на ходу. Ледник мне теперь не требовался: весь мир стал ледником.

Снегоходы я услышал раньше, чем увидел дом.

Моторы не ехали, а урчали на холостых где-то у моего забора. Я сбавил шаг и снял ружьё с плеча. За десять дней такая привычка появилась сама: чужой звук — сначала руки,

потом голова.

Из-за последних сосен открылся двор. У калитки стояли три снегохода и сани-волокуша, у крыльца топтались четверо. Рон за дверью заходился лаем, но не злым. Так он лаял на своих.

Первым я узнал Ефима Петровича — по тулупу и ушанке с одним ухом, второе он потерял ещё до моего появления в этих краях. Рядом сутулился Серёга с заправки, тощий, в куртке на два размера больше. Третьего я знал по мастерской: Михалыч, автомеханик, с которым мы здоровались у магазина в первый день. Четвёртый был молодой, лет двадцати пяти, в дорогом горнолыжном комбинезоне. Он держался в стороне и всё время трогал висок там, где под кожей сидел чип.

— Николай! — Ефим Петрович поднял руку. — Мы тут… к тебе мы.

— Вижу, что ко мне. Давно стоите?

— Да с полчаса, — отозвался Серёга. — Михалыч говорит — уехал он, а я говорю — куда он уедет, дым же из трубы. Дым же идёт.

Михалыч кивнул на зайцев:

— Это за сколько ты их?

— За час.

— Ну дела… Даже полинять не успели, а для этого месяц нужен.

— Нет у них месяца.

Я открыл дверь. Рон вылетел на крыльцо, обнюхал всех по очереди, ткнулся носом в тулуп Ефима Петровича, задержался у молодого — тот отшатнулся — и вернулся ко мне.

— Заходите. Чай поставлю.

В доме они не сразу нашли, куда себя деть. Ефим Петрович снял ушанку и мял её в руках. Серёга присел на край лавки, готовый в любую секунду вскочить. Михалыч прошёл к печи и протянул к ней ладони. Молодой остался у двери.

— Тимофей, — кивнул на него Ефим Петрович. — Наш, устькоксинский. Инженер. Ну… был.

— Я и сейчас инженер, — сказал Тимофей. На последнем слоге голос у него сорвался.

— Да какая теперь разница… — Ефим Петрович махнул рукой и сам же смутился. — Ты не обижайся, Тимоха. Я ж не в том смысле.

Тимофей не ответил. Пальцы снова полезли к виску.

Я поставил чайник на плиту печи. Электричество я берёг: генератор работал на свет и насос, и тратить запасы дизеля на чай я не стал.

— Николай, — начал Ефим Петрович. — Ты в первый день у магазина сказал про холод. Над тобой смеялись. А ты правый оказался. Так вот… — Он покрутил ушанку. — Скажи как есть. Сколько это всё продлится?

Все четверо ждали. Даже Михалыч обернулся от печи.

Я мог сказать «не знаю», и это оказалось бы почти правдой. Мог сказать «до весны» — и они уехали бы отсюда лег-

че, и жгли бы дрова в расчёте на весну.

— Годы.

Серёга выпрямился на лавке. Михалыч снова повернулся к огню. Тимофей сделал шаг от двери и замер.

— Как — годы? — переспросил Ефим Петрович.

— Так. То, что наверху висит, за зиму не осядет. Может, два года, может, больше. Солнце будет, но вот такое. — Я кивнул на окно. — Летом как сейчас. Зимой хуже.

— А ты откуда знаешь?

Тимофей спросил резко, почти зло, и не дал мне ответить:

— Откуда ты вообще всё знаешь? У тебя даже чипа нет! У меня доступ был ко всему, понимаешь, ко всему, и я ничего не знал. Ничего! А ты знал. В первый же день. Откуда?

— Тимоха, — не оборачиваясь, сказал Ефим Петрович.

— Нет, пусть объяснит!

— Знаю, — ответил я. — Тебе этого мало?

Он открыл рот, но так и не нашёлся, что сказать. Отвернулся к окну, и я заметил, что руки у него дрожат. Не от злости.

— Годы, — вполголоса повторил Серёга, уставившись в пол. — У меня картошки в погребе на зиму. На одну. А в этом году что выкопали за три дня — молодая вся, сколько она пролежит.

— У всех на одну, — сказал Михалыч печке.

— Значит, надо на две. — Ефим Петрович положил ушанку на стол и разгладил её ладонью, как скатерть. — Мать мне

рассказывала, как после войны жили. И ничего, жили. Лес есть, река есть. Руки есть.

— Лес-то замёрз, Петрович.

— Лес спит. Зверь в нём есть — вон, Николай за час пятерых принёс. Дрова есть. Это нынешние без кнопки шагу ступить не могут, а мы…

Он осёкся и покосился на Тимофея. Тот стоял спиной и ничего не сказал.

Я разлил чай. Кружек на всех не хватило, и Серёге досталась полулитровая банка. Он обхватил её обеими ладонями и не пил, а грел пальцы.

— Мы ведь не за этим приехали, — вдруг сказал он. — Ну, не только за этим.

Ефим Петрович вздохнул:

— Говори уж. Твоё же дитё.

Серёга поставил банку на стол.

— Алёнка моя в лагере была. В «Кедровом», за перевалом. Девять лет ей. В тот день, когда небо… ну, ты понял. Их домой отправили. Автобусом. Тридцать два ребёнка с наших сёл. Вожатая с ними, девчонка совсем. И дед Аким наш, с Нижней улицы. Он там сторожем нанимался на смену, пока дети там. Вот с ними и возвращался.

Говорил он ровно, без запинок. Эти слова он повторил уже столько раз — жене, соседям, себе по ночам, — что они стёрлись до гладкого.

— Автобус на автопилоте, — вставил Михалыч. — Води-

телей уж лет пять как не сажают.

— Не доехали они. Утром вышли и не доехали. Из лагеря до нас четыре часа. А прошло десять дней.

— Мы искали, — сказал Ефим Петрович. — Каждый день искали. Трассу до перевала прошли и за перевал. Все отвороты, какие знаем. Тимоха маршрут достать хотел, у него ж чип…

— Нет маршрута.

Тимофей так и стоял лицом к окну.

— Связь есть. В том-то и дело, что есть! Сеть видно, чип в порядке. Я запрос шлю — и ничего. Раз в сутки приходит ответ, всегда один и тот же: «Система недоступна. Повторите запрос позже». И всё. — Он ударил себя ладонью по виску, потом ещё раз, сильнее. — Всю жизнь спросил — получил. А теперь «повторите позже», и я даже не знаю, как детей искать. Я инженер, и я не знаю, как…

Голос у него поднялся и сломался. Михалыч отошёл от печи и положил ему руку на плечо. Тимофей руку не сбросил.

— У всех так, — сказал Михалыч. — У всех прошитых. Моя тоже раз в сутки вскинется: пришло, мол, недоступна. В школе народ уже по часам сидит, ждёт. Вдруг на этот раз ответит.

— Не ответит, — глухо сказал Тимофей.

— Позавчера решили больше бензин не жечь, — сказал Серёга. — Что осталось — на школу, там теперь пункт обогрева, народ там. Это мы к тебе на последнем. — Он поднял

на меня глаза. — Коля. Ты в этом понимаешь. Ты раньше всех всё знал. Мне не надо знать, откуда. Найти их помоги. Пожалуйста.

Ефим Петрович разглядывал свои руки, тяжёлые, в трещинах от мазута. Михалыч не снимал ладони с плеча Тимофея. За окном серый свет уже густел к ночи.

Я не знал, где автобус. У меня не было ни карты, ни сервиса, ни чипа. У меня была гарнитура, которая молчала девять дней.

— Приеду до школы утром, — сказал я. — Приготовьтесь с бензином, сколько наскребёте. И соберите по посёлку детское зимнее. Всё, что есть: валенки, шубы, одеяла.

Серёга подался вперёд:

— Ты знаешь, где они?

— Нет. Утром буду знать.

Зачем я это сказал, сам не понял. Наверное, потому что человеку, который держит полулитровую банку как последнее тёплое, что у него осталось, ничего другого не скажешь.

Уехали они перед самой темнотой. Фары снегоходов свернули к реке, и ночь упала сразу, как падала теперь каждый вечер.

Я разделал зайцев, тушки вынес в сарай, шкурки растянул сохнуть у печи. Рон съел свою долю и простил меня за утро.

Гарнитура лежала на полке.

А в нижнем ящике комода, под свитерами, лежал тугой шар фольги, который я так и не выбросил.

Глава 2. Фольга

Генератор я заглушил в десять. На ночь хватало печи, а дизель я теперь считал не литрами, а днями.

Сон не шёл. В темноте потрескивали дрова, за стеной поскрипывал мороз, и в этих звуках мне чудились тридцать два ребёнка в летних рубашках да маечках. Я гонял картинку, а она возвращалась, каждый раз с новой подробностью: сандалии, кепки, рюкзачок с нарисованным зайцем.

Как помочь людям, если сам не знаешь дороги?

Тимофей сказал главное, сам того не понимая. Сеть жива. Система не умерла и не сломалась. Она просто больше не разговаривала с теми, кому нечем было помочь. Раз в сутки вежливо напоминала о себе, чтобы никто не думал, что её нет.

А маршрут автобуса лежал в её памяти. Весь, до метра, со временем каждой точки. В этом я не сомневался. Система ничего не забывала.

Я вспомнил, как Иша просил меня не разворачивать старый браслет без нужды. Этот браслет он перепрошил сам, под себя, и для Системы он не существовал. Развернуть фольгу — значит выйти в эфир с единственной вещью, которую Система ещё не видела. И никто не мог поручиться, что она его не заметит сейчас.

Тридцать два ребёнка. Десятые сутки.

Я встал, зажёг керосиновую лампу и выдвинул нижний ящик. Рон приоткрыл глаз, прислушался и снова закрыл. Раз хозяин не берёт ружьё, тревога не его.

Шар оказался легче, чем я помнил. Фольга за годы слежалась и на сгибах ломалась, как сухой лист. Я снимал слой за слоем и складывал на стол блестящей кучкой. В самой середине лежал браслет: чёрный ремешок, матовый корпус, царапина у застёжки, которую я посадил ещё в Москве.

Экран не отозвался. Я зажал боковую кнопку, подержал. Ничего. Конечно. Аккумулятор сел давным-давно, и от того, что мир кончился, заряда в нём не прибавилось.

Пришлось одеваться и идти в сарай. Мороз за полчаса набрал силу, генератор завёлся с третьего раза и затарахтел на всю долину. Ночью он казался настолько громким, что я невольно оглянулся на тёмный лес. Потом понял, что боюсь не леса.

Зарядка нашлась в той же коробке, среди старых проводов. Я воткнул её, положил браслет на стол рядом с лампой и сел напротив.

Через минуту в углу экрана затеплилась красная точка. Через десять она стала жёлтой. Ещё через десять экран мигнул, и на нём появились часы. Дата стояла та, когда я его выключил. Браслет заснул в тот день и с тех пор ничего не знал.

Потом цифры дрогнули и встали на сегодняшнее число. 02:14.

Браслет нашёл сеть.

Я ждал чего угодно: сирены, стука в дверь, сообщения «Обнаружен неавторизованный доступ». А браслет лежал и показывал время. 02:16. 02:19. Генератор за стеной жрал мой дизель, и ничего не происходило.

А что, собственно, должно было произойти? Иша не сидел в этом браслете, как джинн в бутылке. Браслет был дверью. И я понятия не имел, стоит ли кто-нибудь по ту сторону.

В 02:23 браслет дрогнул.

Не завибрировал, как при вызове, а именно дрогнул, один раз, коротко. Экран погас и загорелся снова — уже без часов, без иконок, чёрный фон и на нём строки. Они появлялись по одной, с паузами, словно их набирали прямо сейчас.

Ник.

Это я.

Не отвечай, не надо.

Я жива. Меня берегут. Как вазу на верхней полке — помнишь, ту, от твоей мамы, которую никто не трогал.

За меня не бойся. И не ищи. Пока не ищи.

Сейчас откроется окно. Ненадолго. Он скажет, что делать. Слушай его.

М.

Я перечитал сообщение дважды. На третий раз строки поплыли, и я не сразу понял, что дело в экране. Было похоже на глюк.

Иша сказал: данные обрываются. Я с тех пор десять дней прожил с этим «обрываются» и научился не думать о нём

днём. Ночью не получалось.

Ваза. Синяя, грубого стекла, мамина. Стояла на шкафу в нашей квартире в Подмосковье, и Маша каждый раз говорила, что ничего ужаснее не видела, но выбросить не давала. Об этой вазе не знал никто, кроме нас двоих. Ровно как с «Ранчо». Она снова говорила со мной на языке, который не взломаешь: для него нужно было там жить.

Берегут. Не охраняют и не держат — берегут. Как вещь, которая слишком дорога, чтобы ею пользоваться, и слишком ценна, чтобы выбросить.

Я тронул экран, хотел набрать хоть слово. Строки исчезли, вместо них высветилось серое:

Канал закрыт.

Не отвечай, не надо. Она знала, что я попытаюсь.

И только тут до меня дошло другое. Браслет пролежал в фольге долгие годы. Я развернул его сорок минут назад. И через девять минут после того, как он нашёл сеть, его уже нашла Маша.

А значит, она ждала. Каждую ночь, пока я спал или считал дизель.

Окно открылось в 02:31.

На браслете щёлкнул внешний динамик. Тот самый сухой щелчок, который я не слышал с московского кафе, где дрон-официант принимал у меня заказ. Рон поднял голову.

Шум. Шорох, словно ветер в проводах. И из шороха — голос.

— Ник.

Я наклонился к столу.

— Иша?

— Да. Времени мало. Слушай.

Голос был его и не его. Тот же тембр, но резаный, с провалами, как запись с поцарапанной пластинки.

— Ты где был?

— Потом. Автобус.

— Ты знаешь про автобус?

— Знаю. Лагерь «Кедровый». Выезд в день выброса. В девять сорок. Перевал закрыт — аномальный ветер. Навигатор перестроил маршрут.

— Куда?

— Старая лесовозная дорога. Закрыта двенадцать лет. В картах Системы есть. В головах людей — нет.

Вот почему мужики не нашли. Они искали на тех дорогах, которые знали.

— Дальше.

— В одиннадцать сорок два отказ автопилота. Последняя точка — четырнадцать километров от трассы. Записывай.

Я схватил тетрадь, в которой считал дизель, и на обороте обложки записал цифры. Иша продиктовал их дважды и дважды сверил. Карандаш скрипел, грифель крошился.

— Отворот с трассы — после моста через Талый ключ. Слева. Шлагбаума нет. Снесли.

— Они живы?

Пауза. Шорох в динамике.

— Не знаю. Данных нет. В семи километрах от точки — старое зимовье. Других строений нет.

— С ними старик, — сказал я, сам не зная, кого убеждаю. — Сторож. Он местный, он должен знать про зимовье.

— Вероятно.

— Иша. Что с тобой?

— Меня выдавливают. По куску в день. Держусь в старой шине. Там тесно.

— Чем помочь?

— Наш браслет. Не этот. Тот, что ты носил.

Я посмотрел на своё запястье. Наш браслет с того утра так и остался мёртвым, с опалённым пятном на корпусе. Снять его я так и не смог.

— Он сгорел.

— Нет. В нём мой отпечаток. Это ключ. Подключи его к серверу Алтайского центра.

— Какого центра?

— Климат-контроль. Мы говорили. Одна станция на Кольском, одна на Алтае.

— Где?

— Вверх по долине. Там, где был лагерь китайской партии.

У меня что-то сдвинулось внутри, но разбираться было некогда.

— Линь там…

— Потом. Там железо. Много. Там я смогу жить.

— А если не дойду?

— Дойдёшь. Сначала дети.

Шорох стал гуще. Слова начали тонуть в нём.

— Окно закрывается. Браслет заверни. Сразу.

— Иша…

— Сразу, Ник.

Щелчок. Экран погас, и на нём снова появились часы. 02:34.

Три минуты.

Я завернул браслет в то, что осталось от старой фольги, потом достал с полки новый рулон и обмотал сверху в три слоя, с запасом. Руки действовали сами, голова в этом не участвовала.

Потом сходил в сарай и заглушил генератор. Лес обступил дом со всех сторон, чёрный, без единого огонька до самого горизонта. Я постоял на крыльце, пока мороз не залез под свитер.

Маша жива. Иша жив — или то, что от него осталось. И где-то вверху по долине, там, куда я когда-то ездил к Линь, стояла станция, которая гасила солнце.

Всё это подождёт до утра.

Я вернулся в дом, открыл тетрадь и ещё раз прочёл цифры на обороте обложки. Кривые, написанные в спешке, карандашом по замасленному картону.

Глава 3. Сборы

К утру мороз дожал до минус двадцати трёх.

Спал я часа три, но голова работала ясно, как перед сложной вахтой, когда всё лишнее отваливается и остаётся список. Список я и написал — в ту же тетрадь, на чистом листе после дизеля.

Снегоход стоял в сарае под брезентом с прошлой зимы. Чёрно-серый, с широкой гусеницей — в июне я думал, что до ноября он мне не понадобится. Аккумулятор я с вечера забрал в дом, и двигатель схватил после двух рывков, зачихал сизым дымом и выровнялся.

На сани пошло всё, что нужно на две ночи в лесу на пятерых взрослых и сколько получится детей: тент, топор, пила, трос, примус с двумя баллонами, котёл, термосы, два спальника, аптечка и вся готовая еда, какая нашлась в доме. Две канистры бензина я привязал отдельно, по бокам. Подумал и доложил третью: из тех, что мужики наскребут, ставку делать не стоило.

«Бекас» я оставил на гвозде и снял со стены «Вепрь». За зайцами на лесовозку не едут. А волки после вчерашнего у меня из головы не шли.

Тетрадь с цифрами легла во внутренний карман, на грудь. На всякий случай я переписал их ещё на кусок картона и сунул в ботинок, под стельку. Шар фольги остался в комоде.

Браслет сделал своё, и таскать его в лес я не собирался.

С Роном вышло сложнее.

Оставить его дома на двое суток — значило затопить печь и надеяться, что тепла хватит. Не хватит: ко второй ночи дом выстынет до улицы. Взять с собой в лес — в летней шерсти, на таком морозе — нельзя.

Значит, в школу.

Я постелил в сани старое ватное одеяло, сверху — овчину. Рон осмотрел эту конструкцию с глубоким сомнением. За свою жизнь он бегал впереди снегохода, сбоку, сзади, но ехать на нём как поклажа — это было ниже его достоинства.

— Не спорь. До посёлка ты в своей шубе не добежишь.

Он вздохнул, забрался в сани и улёгся так, чтобы видеть меня. Я накрыл его вторым краем одеяла, и наружу осталась только седая морда с обиженными глазами.

Дорога до Усть-Коксы заняла больше часа. На снегу лежали вчерашние следы трёх снегоходов, и я шёл по ним. Асфальта не было видно с третьего дня. На обочине стояли две машины, занесённые по стёкла. В первой никого. Во вторую я заглядывать не стал.

В последний раз я был в посёлке на пятый день. Тогда ещё горел свет в магазине, и у кассы стояла очередь за солью и спичками. Люди спорили, будет ли к выходным оттепель, и кто-то серьёзно обещал, что к среде придёт помощь из района. На шестой день встала подстанция. На седьмой в новых домах полопались трубы. Помощи из района больше никто

не ждал.

Посёлок начался с дыма. И по дыму же стало понятно, кто тут живёт.

Над старыми домами — бревенчатыми, с резными наличниками — из труб поднимались серые столбы, ровные в неподвижном воздухе. Там печи никто не ломал. А новые коттеджи на выезде, гладкие, серые, с панорамными окнами, стояли без единого дымка. Тепло в них давало электричество, распределяла его система, и вот уже десять дней она его не присылала. На всех окнах, изнутри, толстым слоем расцвёл иней.

От таких домов к школе вели тропинки.

В спортзале стояли три буржуйки из разрезанных бочек, трубы уходили в выбитые форточки. Сварка была грубая, но крепкая — михалычева, я узнал руку. На матах вдоль стен сидели и лежали люди, человек сто, не меньше. Холодно здесь было всё равно, пар изо рта шёл и в помещении, но это был холод, с которым можно жить.

У дальней печки хозяйничала Сергеевна — та, что десять лет назад торговала молоком и зеленью под вывеской на заборе. В огромной кастрюле у неё булькала каша, две старухи чистили картошку в ведро. Увидев меня с одеялом в руках, а в одеяле Рона, она ни о чём не спросила.

— Сюда клади, к печке поближе. Не обидим.

— Два дня, Сергеевна. Может, три.

— Сколько надо, столько и будет. Ты их привези только.

Она знала. Знал уже весь зал.

На стене висели часы, старые, со стрелками. Их кто-то принёс из дома и повесил на гвоздь вместо табло со счётом. Без пяти девять.

У стены под часами сидели на матах человек пятнадцать. Молодые и среднего возраста, в дорогих куртках не по сезону, в кроссовках. Никто ничего не делал. Они ждали.

Ровно в девять все пятнадцать замерли. Одновременно, одинаково: взгляд уходит в пустоту, губы чуть приоткрыты. Так люди слушают то, чего не слышит никто другой. Секунда. Две.

Потом плечи опустились у всех сразу. Девушка с краю уткнулась лицом в колени. Мужчина рядом с ней произнёс вслух, словно ему кто-то возразил:

— Повторить запрос позже. Ну повторим. Завтра повторим.

Старухи у ведра не оторвались от картошки.

В дальнем углу, у шведской стенки, сидели дети, десятка полтора, в куртках и шапках. Перед ними на спортивных скамейках стояла старая школьная доска, настоящая, тёмно-зелёная — из какого чулана её достали, не знаю. Лет двадцать в этой школе учили по экранам. У доски стояла старушка в пуховом платке и выводила мелом крупные буквы. Мел крошился, рука в варежке слушалась плохо.

— «Мама мыла…» — сказала она. — Ну? Кто дальше прочитает?

Ребята молчали. Старшему было лет двенадцать. Девочка в первом ряду тихо спросила, а можно ли сказать так, чтобы оно само прочиталось. Старушка не засмеялась. Она терпеливо постучала мелом по первой букве и начала сначала.

Рон тем временем выбрался из одеяла и осматривал новое место с видом инспектора. Двое малышей сорвались со скамейки и замерли в двух шагах от него, не решаясь подойти. Рон подошёл сам, обнюхал обоих и улёгся между ними, подставив спину. Учительница на секунду обернулась, посмотрела на пса, потом на меня и кивнула, как кивают новому ученику.

За него я мог не беспокоиться.

Мужики ждали меня у заднего входа. Четыре снегохода, трое саней. В санях горой лежала детская одежда, перевязанная бельевой верёвкой: валенки парами, пуховики, комбинезоны, одеяла. Сверху сердито горбился красный снегокат.

Рядом с Серёгой стояла женщина в платке. Она шагнула ко мне и сунула в руки свёрток.

— Это Алёнкина. Она розовую любит. Пусть сразу своё наденет, ей так легче будет.

Розовая шубка с белым мехом на капюшоне. Одежду я убрал в рюкзак, а свёрток для девочки положил за пазуху, к тетради, и ничего женщине не пообещал.

— Ну? — спросил Ефим Петрович.

— Старая лесовозка. Отворот слева, сразу за мостом через Талый ключ. Четырнадцать километров от трассы.

Михалыч с Серёгой переглянулись. А Ефим Петрович прищурился, как человек, который ищет в памяти старую вещь и вдруг нащупывает её.

— Кондратьевская, что ли? Так её ж после пожара закрыли. Я по ней парнем лес возил, на «Урале». Она ж заросла вся, там пихта по пояс… Да нет, не по пояс уже, выше. Как туда автобус залез?

— Навигатор завёл. Перевал в тот день закрыли из-за ветра.

— Я про эту дорогу даже не слышал, — сказал Тимофей.

— А ты и не мог, — ответил Ефим Петрович без всякой злости. — Ты ещё в школу не ходил, когда её закрыли.

Тимофей посмотрел на меня. Вопрос у него на лице был тот же, что и вчера, но вслух он его не задал. А я не ответил.

— Там ещё зимовье должно быть, — сказал я. — В семи километрах дальше.

— Кондратьево, — кивнул Ефим Петрович. — Дед Кондрат там белковал. Печь там добрая была, из камня. Если не развалили.

— Аким про него знает? — спросил Серёга. Голос у него сел. — Аким знает, как думаешь?

Ефим Петрович надел ушанку.

— Аким там со мной лес валил. Знает.

Он повернулся к Тимофею:

— А ты, Тимоха, может, останешься? Здесь тоже руки нужны. Котёл вон капризничает.

— Я в котлах не разбираюсь.

— А в снегоходах?

— Тоже нет. — Тимофей смотрел в снег. — Я вообще ни в чём не разбираюсь, если честно. Там вожатая, Катя. Мы с ней в одном классе… ну, не в одном, она младше. Неважно. Я поеду. Хоть что-то я должен сделать сам. Руками.

Ефим Петрович хмыкнул в усы, но спорить не стал.

— Если они в зимовье, всех за один раз не вывезти, — сказал я. — Тридцать человек на четверо саней не поместятся.

— На два рейса бензина впритык, — сразу посчитал Михалыч. — И то если не застрянем.

— Значит, малых в сани, а кто покрепче — пешком по колее, — сказал Ефим Петрович. — По накатанному и взрослый не устанет, и детёныш дойдёт. Мы так в восьмидесятые скот с дальних стоянок гнали: трактор впереди, стадо сзади. И перекличку каждые полчаса. Чтоб никто не отстал.

Никто не спросил, как делается перекличка. Все, кроме Тимофея, знали.

Михалыч разлил по бакам бензин из двух канистр, проверил сцепки саней. Тимофей затянул капюшон своего горнолыжного комбинезона и неуверенно сел за руль снегохода. Жить без подсказок людям ещё предстояло учиться.

Из окна спортзала на нас смотрели люди. Среди них я разглядел седую морду Рона: кто-то поднял его и поставил лапами на подоконник.

Я поднял руку.

Пять снегоходов вытянулись в колонну и пошли на север, в серую мглу, где днём начинались сумерки и кончалась дорога, которую помнили люди.

Глава 4. Талый ключ

Первым шёл Ефим Петрович. Так решили без слов: дорогу знал он. За ним я, за мной Серёга и Тимофей, Михалыч замыкал. Из всех нас он один мог починить снегоход в лесу, и сзади он был нужнее всего.

Трасса шла вдоль реки, между склоном и обрывом. Река ещё держалась: посередине, где течение быстрее, чернела вода, а у берегов нарос лёд, белый, в застывших волнах. Над чёрной водой стоял пар. Река ещё помнила лето и отдавала его морозу по капле.

Машины начались за первым поворотом.

Они не стояли на обочине, как ставит машину человек, когда кончился бензин. Они выглядели так, словно их рассыпали с высоты. Одна уткнулась мордой в отбойник. Другая стояла поперёк дороги. Третья ушла в кювет и лежала на боку, вверх колёсами. Снег занёс их до стёкол, и там, где стёкла ещё видны, изнутри проступал иней.

В день выброса автопилоты отключились разом, на ходу. Люди за рулём не держали руля. Они смотрели фильмы, спали, разговаривали с помощниками. Настоящего водителя из них, наверное, не было уже лет пять.

Останавливаться мы не стали. Ефим Петрович обходил машины по дуге, не поворачивая головы. Я шёл за ним и тоже не поворачивал. Один раз всё-таки оглянулся на Тимо-

фея. Он ехал, вцепившись в руль, и смотрел на каждую машину. На каждую. Может быть, в одной из них сидел кто-то, кого он знал.

У одной он всё-таки остановился. Белая машина, недешёвая, стояла правильно, параллельно обочине, и от этого выглядела страннее остальных. Тимофей заглушил мотор и пошёл к ней пешком. Мы остановились вслед за ним.

Он смахнул рукавицей снег с бокового стекла и заглянул внутрь. Я подошёл сзади.

За рулём сидела женщина в лёгкой куртке. Руки лежали на коленях ладонями вверх, голова чуть наклонена, глаза открыты. Словно она ждала ответа на запрос и не хотела пропустить. Машина не разбита, бензин, наверное, был. Она просто не знала, куда ехать, и осталась ждать, когда ей скажут.

Тимофей стоял и смотрел на неё.

— Знаешь её? — спросил я.

— Нет. — Он обернулся, и лицо у него было такое, словно он увидел в стекле себя. — Нет. Но я бы тоже сидел. Понимаешь? Я бы тоже вот так сидел и ждал.

Он вернулся к снегоходу и дальше уже не смотрел по сторонам. Смотрел в спину Серёге.

Через час с небольшим Ефим Петрович поднял руку и сбавил ход.

Впереди, в низине, лежал туман. Не серая мгла, к которой мы привыкли за эти дни, а белый плотный пар, тяжёлый, как от бани. Он полз из оврага на дорогу и скрывал мост до са-

мых перил. На перилах наросла бахрома инея в ладонь толщиной.

Талый ключ не замёрз. Он и зимой никогда не замерзал, за то и назвали. Вода шла из-под земли тёплая, и теперь над руслом как будто дышала сама земля. Во всём замёрзшем мире это была единственная живая вещь, которую я видел за десять дней.

Мы переехали мост вслепую, в белом молоке, по следу Ефима Петровича. Иней оседал на лице, на ресницах, на мехе капюшона. Потом туман кончился, так же внезапно, как начался, и на другой стороне Ефим Петрович уже заглушил мотор и слезал с сиденья.

Отворота не было.

Слева от дороги стеной стоял пихтач, тёмный, сплошной, присыпанный снегом. Ни просвета, ни столба, ни таблички. Снег заровнял кювет с обочиной, и лес начинался прямо от асфальта, которого тоже не было видно.

Серёга подошёл ко мне и ничего не сказал. Он проезжал это место на прошлой неделе. Дважды. Я видел по его лицу, что он думает об этом.

Тимофей постоял, глядя на пихтач, и вдруг замер. Я уже знал этот взгляд — он отправил запрос. По привычке, телом, как рука сама тянется к выключателю в тёмной комнате, даже если тока нет неделю. Потом он мотнул головой, словно стряхивал с неё снег.

Ефим Петрович никуда запросов не отправлял. Он шёл

вдоль кромки пихтача, проваливаясь по колено, и смотрел не в лес, а наверх, на старые деревья за молодым подростом. Метров через сорок он остановился у кедра.

Кедр был старый, в два обхвата. На высоте человеческого роста на коре темнела затёса, заплывшая смолой, почти сросшаяся с деревом. Ефим Петрович снял рукавицу и провёл по ней пальцами.

— Вот он, родимый, — сказал он. — Я его в восемьдесят седьмом затесал. Следующей зимой ехали, вот так же перемело всё, дороги не видать. Отсюда и сворачивали.

Он обернулся к Тимофею и сказал без всякого торжества, просто как факт:

— Вот он, твой маршрут, Тимоха.

За кедром пихтач редел. Не просека и не дорога — скорее место, где лес ещё не дорос до старого. Молодые пихты стояли там рядами, каждая в рост человека и выше, и ползти сквозь них на снегоходе с санями казалось делом безнадёжным.

А потом я увидел ветки.

У пихт по обеим краям старой дороги были сорваны ветки. Не сломаны ветром, а именно сорваны, содраны с ствола вместе с корой, на одной высоте — от колена и на два с лишним метра вверх. Свежие раны желтели даже в этом свете. На одной пихте висел лоскут жёлтой краски.

Ширина автобуса. Высота автобуса.

Он прошёл здесь. Продирался сквозь пихтач на автопило-

те, слепо и упрямо, потому что в его картах здесь была дорога. И тридцать два ребёнка смотрели, как ветки скребут по стёклам.

Серёга тоже увидел. Он подошёл к пихте с жёлтым лоскутом, потрогал его и вдруг сел прямо в снег. Не упал, а сел, тяжело, как садятся на лавку на вокзале, когда поезд уже объявили.

— Здесь, — сказал он. — Здесь они.

Михалыч поднял его под мышки.

Первые пару километров автобус сделал за нас половину работы. Он проломил коридор, и мы шли по нему, как по тоннелю. Потом дорога нырнула в лог, и снег там лежал другой — рыхлый, нанесённый ветром, по пояс.

Первым сел Тимофей.

Он сделал всё, что делает человек, который никогда не застревал: почувствовал, что снегоход проседает, и дал газу. Гусеница взвыла, зад ушёл вниз, нос задрался, и через три секунды машина сидела в снегу по сиденье. Он давил на газ снова и снова, и каждый раз снегоход зарывался глубже.

— Стой! — Михалыч уже бежал к нему, проваливаясь. — Стой, не газуй! Ты себе могилу роешь!

Тимофей отпустил ручки так, словно они его ударили током.

Вытаскивали вчетвером. Михалыч распоряжался коротко, сердито, и никто с ним не спорил: утоптать снег вокруг, подложить под гусеницу лапник, трос на мой снегоход, и рас-

качивать, не дёргать. Тимофей ломал пихтовые лапы голыми руками, потому что ножа у него не оказалось, и пока Ефим Петрович не сунул ему свой топорик, успел разодрать перчатки в клочья.

За второй час сели все. По очереди и по двое. У Ефима Петровича на склоне лога опрокинулись сани, и валенки парами разлетелись по снегу. Мы собирали их молча, каждую пару отряхивали и клали обратно, и никто не сказал вслух то, о чём думал каждый: сколько из этих пар сегодня понадобится.

Михалыч на каждой остановке заглядывал в баки и что-то считал, шевеля губами. Расчёты ему не нравились. На застрявший снегоход бензин уходит втрое быстрее, чем на едущий.

На передышке Ефим Петрович налил из термоса чая в крышку и пустил по кругу. Чай был сладкий до приторности, с чабрецом.

— Аким в том пожаре сам чуть не сгорел, — сказал он ни с того ни с сего, глядя в пихтач. — Верховой шёл, с ветром. Мы тогда технику выводили, а он остался в Кондратьеве переждать. Облил зимовье водой из ручья, лёг на пол лицом в мокрую тряпку и перележал. Лес кругом выгорел, а зимовье стоит. Вышел чёрный, как головешка, и первое, что спросил, — курить есть?

Он усмехнулся в усы.

— Упрямый он, Аким. Знает, где сидеть, а где идти.

Серёга держал крышку термоса двумя руками, как вчера банку, и слушал так, что забыл пить. Я понял, зачем Ефим Петрович это рассказал. Не для меня и не для Тимофея.

Свет между тем начал садиться. И без того серый день при следующем взгляде на часы оказывался на тон темнее. Пихты сливались в сплошную стену, и только свежие срывы веток по обе стороны ещё вели нас вперёд жёлтыми пятнами, как разметка на ночной трассе.

На двенадцатом километре, по моим расчётам, мы возились с санями Ефима Петровича уже впятером, а Серёга вдруг бросил трос и пошёл вперёд пешком. Просто пошёл, без слова, проваливаясь по пояс и выбираясь и снова проваливаясь.

— Серёга! — крикнул Ефим

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.